

## ЗНАЧЕНИЕ ШИЛЛЕРОВСКИХ ОТРАЖЕНИЙ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»

На протяжении всей своей творческой деятельности Достоевский был активным участником полемики вокруг «русского» Шиллера, выступая в ней в разных качествах — как художник, публицист, критик, редактор журналов. Интерес писателя к Шиллеру был устойчивым и многосторонним — культурологическим, мировоззренческим, собственно художественным; в нем находят выражение определенная национальная позиция и представление об общечеловеческих идеалах. В творчестве Достоевского основные тенденции восприятия Шиллера в России просматриваются с особенной отчетливостью. И в то же время романист неизмеримо обогащает и углубляет традиционное представление о Шиллере, сформировавшееся в русском литературно-эстетическом сознании, вносит в русскую рецепцию Шиллера существенные коррективы.

В «Дневнике писателя» (1876, июнь) Достоевский с присущей ему страстностью говорил о глубочайшем и широком освоении Шиллера в России, подчеркивая его популярность именно в нашем отечестве. По его мнению, воздействие таких писателей, как Шиллер и Ж. Санд, на русскую литературу столь значительно, что оно требует серьезного научно-теоретического осмысления. Эта мысль высказывается в «Записных тетрадях 1876—1877 гг.»: «...Этюд (ученый!), как писатели (Шиллер, Жорж Санд) имели влияние на Россию и насколько, был бы чрезвычайным и серьезным трудом» (24; 247). В записях тех же лет — в соответствии со своей установкой максимального сближения литературного материала с жизненным — Достоевский настойчиво подчеркивает, что наиболее значительные явления литературы не менее важны и имеют такую же силу, как и события общественно-политической жизни: «Пушкин и «Кавказский пленник» — разве не сила. Жуковский и влияние с ним Шиллера — разве не сила. Зарождающийся социализм и Белинский — да неужто и Белинский не сила? Именно все это сила и даже страшно

**себя проявившая»** (24; 248). Влияние Шиллера, имя которого названо в ряду великих русских имен, соизмеримо, по Достоевскому, с историческим развитием русского общества, и его результативность невозможно переоценить.

Тема Шиллера, одна из «сквозных» тем Достоевского, предстает в его итоговом романе в разных ипостасях и ракурсах. Для русского романиста немецкий поэт являлся своего рода символом, выражавшим определенную эстетическую программу, олицетворением «высокого и прекрасного» в жизни и человеке, высочайшим нравственным критерием оценки личности<sup>1</sup>. Достоевского волновали психологические аспекты русской «шиллеровщины», социальные условия, ее породившие. Исследователи неоднократно обращали внимание на значительную роль Шиллера в кругозоре героев Достоевского. Р. Г. Назиров пытался внести корректив в традиционный взгляд на смысл параллелей с Шиллером, подчеркивая, что роман «Братья Карамазовы» «и сюжетно, и идеологически далек от «Разбойников» Шиллера, а ода «К радости» служит в основном для характеристики Мити»<sup>2</sup>. По мнению литературоведа, «прямые цитаты и реминисценции из Шиллера... означают взгляд со стороны»<sup>3</sup>. Подобная интерпретация не выглядит убедительной. Шиллеровские отражения, образующие важнейшие лейтмотивы романа, имеют глубокий идейно-философский и даже символический смысл. Дворянское поместье в «Братьях Карамазовых» напоминает разбойничий вертеп, где почти каждый лелеет замысел убийства, атмосфера преступления и вседозволенности сгущается и выглядит особенно зловещей. Это свидетельствует о том, что Шиллер интересовал Достоевского не только как художник возвышенных, но и «жестоких» тем<sup>4</sup>.

Л. П. Гроссман обратил внимание на то, что «в семействе Карамазовых» господствует всеобщий интерес к Шиллеру»<sup>5</sup>. Дмитрий Карамазов, в полной мере испытавший на себе проклятие карамазовщины, является страстным поклонником

---

<sup>1</sup> Значительный вклад в разработку проблемы внес Г. М. Фридендер. См.: Фридендер Г. М. Достоевский и мировая литература. — Л., 1985. О работах других исследователей пойдет речь ниже.

<sup>2</sup> Назиров Р. Г. Автор и литературная традиция (о некоторых особенностях поэтики Достоевского). // Проблема автора в художественной литературе. — Ижевск, 1974. — С. 175.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> См.: Дудкин В. В. Достоевский — «жестокий талант» // Достоевский и современность. — Новгород, 1989.

<sup>5</sup> Гроссман Л. П. Библиотека Достоевского. — Одесса, 1919. — С. 13.

Шиллера, Иван цитирует поэта в оригинале, шиллеровские парафразы встречаются в монологах и репликах Федора Павловича, отдельные шиллеровские мысли развиваются Аleshей. Одна из первых шиллеровских ассоциаций, неоднократно уже интерпретировавшаяся, принадлежит Федору Павловичу Карамазову (сцена «неуместного собрания» в келье старца Зосимы): «Божественный и святейший старец! — вскричал он, указывая на Ивана Федоровича. — Это мой сын, плоть от плоти моей, любимейшая плоть моя! Это мой почтительнейший, так сказать, Карл Мор, а вот этот, сейчас вошедший сын, Дмитрий Федорович, и против которого у вас управы ищу, — это уж непочтительнейший Франц Мор, — оба из «Разбойников» Шиллера, а я, я сам в таком случае уж *Regierender Graf von Moog!* (14; 66). В. Е. Ветловская справедливо называет данную аттестацию «шутовской», подчеркивая, что «шутовское, неискреннее высказывание может сделаться авторитетным в пределах всей художественной системы»<sup>1</sup>. Федора Павловича в наибольшей степени отличает склонность к тому духовному «стриптизу», которая характерна для князя Валковского и для Свидригайлова. Именно поэтому Шиллер попадает в кругозор Федора Павловича, выявляя — по контрасту — глубину нравственного падения этого человека. «Что касается его собственного сходства с графом Моором, то оно именно в отсутствии глубокого сознания своего отцовства, нравственного старшинства»<sup>2</sup>, — подчеркивает Т. М. Родина.

«Прирожденным шиллеровским типом» (Ю. Мейер-Грефе), «органическим романтиком» (Н. Я. Берковский) является Дмитрий. Из всех персонажей этого романа он наиболее непосредственно выражает свое отношение к Шиллеру, очень многое в его характере проясняющее. Литературоведы, касавшиеся темы «Шиллер—Достоевский», обычно обращают особое внимание на главу «Исповедь горячего сердца. В стихах», в которой Дмитрий вдохновенно декламирует балладу Шиллера «Элевсинский праздник» (*Das Eleusische Fest*) в переводе Жуковского и оду «К Радости» («*An die Freude*») в переводе Тютчева. Это вполне закономерно, и не столько потому, что в поле зрения исследователей оказывается одно из самых сильных «шиллеровских мест» в романе, но и потому,

<sup>1</sup> Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». — Л., 1977. — С. 58.

<sup>2</sup> Родина Т. М. Достоевский: Повествование и драма. — М., 1984, — С. 73.

что эта глава — как одна из ключевых глав — имеет важнейшее композиционное значение. А. В. Никитин предпринял попытку детального анализа этой сцены. Этот анализ, тщательно проведенный и отличающийся многими достоинствами, побуждает к дальнейшим размышлениям. Представляется, что в данном случае был бы целесообразен более широкий выход к контексту романа, к его узловым проблемам.

Автор статьи рассматривает назначение цитат из Шиллера следующим образом: «баллада эпиграфирует мотив добра («сын бога»), ода — нечто противоположное («иду вслед за чертом»)»<sup>1</sup>. На наш взгляд, не менее важно и то обстоятельство, что эти два произведения связаны рядом общих мотивов. Поясним эту мысль.

«Элевсинский праздник» считается одним из шедевров Жуковского-переводчика. Жуковский верно угадывает доминирующее лирическое настроение поэта, поэтически точно передает смысловое содержание баллады, удачно воспроизводит ее главные образы. Это произведение находит в душе Дмитрия взволнованный отклик, пробуждает сильное переживание. Герой декламирует первые строфы баллады.

Робок, наг и дик скрывался  
Троглодит в пещерах скал,  
По полям номад скитался  
И поля опустошал.

(14; 98).

О чем говорит такое начало? Состояние первобытной дикости и грубости, запечатленное Шиллером в этих начальных строках, ассоциируется с мотивом карамазовщины. «Достоевский смущен тем, — пишет В. Лакшин в статье «Суд над Иваном Карамазовым», — с какой легкостью в современном ему человеке просыпается «троглодит», и через все слои приобретенной культуры... прорывается древнее, косматое, от пещер каменного века сохраненное, злое нутро»<sup>2</sup>. Это и есть первое, и самое, может быть, большое унижение человека, от которого так страдает Митя. Герой Достоевского и в себе ощущает эту первозданную грубость и дикость, всеми силами стремясь ее превозмочь. Но Митю беспокоит мысль не только

---

<sup>1</sup> Никитин А. В. Лирика Шиллера в «Исповеди горячего сердца» («Братья Карамазовы» Достоевского) // Русская литература XIX в. Вопросы сюжета и композиции. — Горький, 1975. — С. 135.

<sup>2</sup> Лакшин В. Я. Суд над Иваном Карамазовым // Подъем. — 1982. — № 1. — С. 135.

о природе инстинктивного зла в самом человеке. В балладе развивается и другой мотив унижения человека — его беззащитности перед ударами судьбы, несчастьями и бедами. В этом смысле человек также вызывает у Дмитрия сильнейшее сочувствие:

«И куда печальным оком  
Там Церера ни глядит —  
В унижении глубоком  
Человека всюду зрит!

Рыдания вырвались вдруг у Мити. Он схватил Алешу за руку. — Друг, друг, в унижении, в унижении и теперь. Страшно много человеку на земле терпеть, страшно много ему бед!» (14; 98—99). Как же победить это двойное унижение, протекающее от зла в человеке и зла в мире? Знаменитые строки шиллеровской баллады указывают путь, следуя которым человек возвышается духовно, обретает стойкость в испытаниях и спасается от праздности и позора:

Чтоб из низости душою  
Мог подняться человек,  
С древней матерью-землею  
Он вступил в союз навек.

(14; 99).

Вяч. Иванов был одним из первых исследователей, обративших внимание на важность этого руссоистско-шиллеровского мотива<sup>1</sup>. Его мысль подхвачена и развита Н. Я. Берковским. «...Есть земля мертвая — люди связаны с нею экономически, не будучи связаны с нею трудом. И есть земля живая, одухотворенная, к которой приложен труд людей, состоящих в братском союзе друг с другом, — земля тоже по-своему входит в это братство»<sup>2</sup>. Руссоистско-шиллеровский мотив матери-земли, в данном случае неразрывно связанный с исконно русской поэтизацией земли, свидетельствует о чом ракурсе в восприятии Шиллера Достоевским. Поэт, традиционно воспринимавшийся как певец отвлеченных идеалов, в «Братьях Карамазовых» возвращает людей к земле, призывает к активному сотворчеству с нею. Достоевский, как и Шиллер, верит, что такой деятельный, животворящий союз и в самом деле спасителен.

---

<sup>1</sup> Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия. // Иванов Вяч. Борозды и межи. — М., 1916. — С. 14—15.

<sup>2</sup> Берковский Н. Я. О «Братьях Карамазовых» // Берковский Н. Я. О русской литературе. Л., 1985. — С. 200—201.

Но даже этот, казалось бы, несомненный выход порождает в сознании Дмитрия ряд новых вопросов, главный из которых — вопрос о загадке бытия. Таинственной ему кажется и человеческая душа, совмещающая в себе две «бездны». Глобальные философские вопросы, которые задает себе Митя, есть следствие колоссальной жажды познания и самопознания. Герой остро ощущает свою почти фатальную зависимость от карамазовщины и говорит об этом с болью и отчаянием. Он искренне признается в своеобразном соблазне «эстетики» безобразного (вспомним Раскольникова: «Во вкус вхожу и иных пунктах»): «Потому что уж если полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятаями, и даже доволен, что именно в унижительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой» (14; 99). Здесь мотив трагической антиномичности характера Дмитрия звучит с предельной остротой, ибо тенденция снижения его образа достигает своего апогея. И вдруг в доминирующем настроении «Исповеди» обнаруживается перелом, открывающий в характере Дмитрия новые черты. Предваряя шиллеровский гимн, герой произносит собственный вдохновенный поэтический дифирамб, свой гимн радости, обнаруживая высокий лирический склад души: «Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облакается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки Твой сын, Господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть» (14; 99—100). Шиллеровская ода «К Радости», строфы которой декламирует Митя, оказывается в высшей степени созвучной его состоянию лирического восторга.

Установлено, что имеется не менее пятнадцати наиболее известных русских переводов шиллеровского гимна. В «Братьях Карамазовых» он звучит в переводе Тютчева. Достоевский высоко ценил Тютчева, считая его, по свидетельству В. Перова, «первым поэтом-философом, которому равного не было, кроме Пушкина»<sup>1</sup>. Этот перевод отличается высокими художественными достоинствами, но он не вполне точен. Комментаторы семитомного собрания Шиллера (С. Апт, Н. Вильмонт) не без основания полагают, что Тютчев «привнес в него свое христианское мировоззрение. На самом деле шилле-

---

<sup>1</sup> Переписка П. М. Третьякова // «Искусство». — 1929. — № 5—6. — С. 46.

ровский бог, «в любовь пресуществленный», очень близок к Эросу, в том толковании, какое дает ему автор в своих одах к Лауре и в стихотворении «Дружба»<sup>1</sup>.

Вяч. Иванов, интерпретировавший сцену «Исповеди» исключительно в религиозно-мистическом духе, очень поэтически писал о том, что наиболее воспринял в Шиллере Достоевский-художник: «Он святил в поэте человечности любовь к божественному лику человека, веру в человеческую божественность, — ту любовь и ту веру, которые не исчерпываются содержанием положительных «идеалов» жизни, но коренятся в мистическом касании к мирам иным»<sup>2</sup>. У Достоевского в «Исповеди», равно как и в главе «Кана Галилейская», этот мотив, бесспорно, ощутим. Ключевым, основополагающим лейтмотивом в этой сцене — и в контексте романа в целом — является мотив захватывающей радости жизни, безграничной любви к ней. Тема «кубка жизни», неразрывно связанная с темой Шиллера, интересно интерпретируется С. Г. Бочаровым. «В тексте романа, — отмечает он, — «кубок» Ивана соотносится с «кубком жизни» из тютчевского перевода оды «К Радости» Шиллера... (...). Если тема Ивана — «жажда жизни, несмотря ни на что», то тему Митиной исповеди и его чтения Шиллера можно было бы определить, как «радость, несмотря ни на что»<sup>3</sup>.

В названной выше статье А. В. Никитин утверждает, что Дмитрий на свой лад, по-особому прочитал оду Шиллера, выделив те мотивы, которые для нее несущественны и что в его сознании ода постулирует мотив «иду вслед за чертом»<sup>4</sup>. Вывод этот слишком однолинеен, в нем акцентирована только одна сторона проблемы. Митя, действительно, выделяет строки, теряющиеся в общем контексте шиллеревского гимна («насекомым-сладострастьем»), и для Достоевского этот мотив очень существенен. Вспомним самохарактеристики и взаимоотношения героев: «клоп», «злое насекомое», «тарантул». Но ода Шиллера вдохновляет Дмитрия, конечно же,

---

<sup>1</sup> Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7-и т. — М., 1955—1957 гг. — Т. 1. — С. 733.

<sup>2</sup> Иванов Вяч. О Шиллере // Иванов Вяч. По звездам. — СПб, 1909. — С. 80.

<sup>3</sup> Бочаров С. Г. О двух пушкинских реминисценциях в «Братьях Карамазовых» // Достоевский: Материалы и исследования. — Т. 2. — Л., 1976. — С. 145—146.

<sup>4</sup> См.: Никитин А. В. Лирика Шиллера в «Исповеди горячего сердца...». — С. 137—139.

не этой «карамазовской» мыслью, а главным своим лейтмотивом, высокогуманистическим пафосом, прославлением любовного единения и духовного братства. «Основной лейтмотив оды, — считает Н. Я. Берковский, — великая общность людей, из которой должна родиться земная радость»<sup>1</sup>. Лирическое настроение, выразившееся в гимне, созвучно общему пафосу «Братьев Карамазовых». «Радость жизни — первая философская и музыкальная тема романа, — заключает исследователь. — Вторая тема — «карамазовщина» и убийство. В «карамазовщине» та же радость жизни, но извращенная и обезображенная... Третья тема, заключительная, — мораль сострадания и духовной любви между людьми. Достоевский надеется через братскую любовь вернуться к радости, очищенной от «карамазовщины»<sup>2</sup>. Все эти темы по-своему преломляются в «Исповеди» и неразрывно связаны с проблемой Шиллера.

Анализируя сцену «Исповеди», нельзя забывать о том, что этот, обращенный ко всему миру, проникновенный лирический монолог принадлежит человеку, оьяненному страстью, заполоненному красотой. Митя сознает, что он захвачен губительной страстью, и все же воспринимает ее как высшую радость, как подарок судьбы, — независимо от того, кто управляет ею — Бог или дьявол. Противоречивость, связанная с воздействием красоты, осознается Дмитрием как «тайна», «загадка», неразрешимый вопрос. Дмитрий пытается определить красоту с этической точки зрения, но приходит к выводу, что этический критерий здесь недостаточен. Красота представляется ему и сатанинской и божественной силой, «сладострастьем», но которым одарил Бог. По мнению Д. Чижевского, Достоевский, в противоположность Шиллеру, не верит, что красота может создать, упрочить, удержать стабильное равновесие между двумя борющимися в человеческой душе силами<sup>3</sup>. Красота может развязать в человеке темные инстинкты, но она же является и очищающей, побудительной силой, раскрывающей в человеке безграничные возможности духовного совершенствования. Именно так влияет эта сила, с которой можно «мир перевернуть», на Дмитрия Карамазова.

Развитие характера Дмитрия идет по восходящей линии —

---

<sup>1</sup> Берковский Н. Я. О «Братьях Карамазовых». — С. 207.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> См.: Cyzevskyj D. Schiller und die «Brüder Karamasov» // Zeitschrift für slavische Philologie. — Band VI. — Leipzig, 1929. — S. 23—24.

к подлинной духовности, что сказалось и в его готовности принять страдание и в отношениях с Грушенькой. Чувство Мити претерпело значительную эволюцию. Сначала это бевсовская страсть, доставившая Мите немало тяжких страданий. Примечательно, что Митя говорит о своих переживаниях, прибегая к шиллеровским «жестоким» мотивам: «Тогда плакала, а теперь — ...теперь «кинжал в сердце». Так у баб» (14; 143). Затем чувство Дмитрия трансформировалось в сильную духовную привязанность и настоящую любовь. Герой Достоевского проявляет благородство под стать Фердинанду фон Вальтеру и выражает свои чувства теми же словами, что и герой Шиллера: «Благоговею я пред ней, Алексей, благоговею!» (15; 33). «Шиллеровское» в Дмитрии все более превалирует над «карамазовским». В отличие от других «сладострастников» Достоевского он не только не переступил черты, предполагающей «отрицание духовности» (по выражению П. Гайденко)<sup>1</sup>, но, напротив, поверяется автором романа на духовность самую высокую.

Возможности, заложенные в характере Дмитрия, очень велики. Это страстный, одержимый, азартный человек, тяготеющий к риску и своеобразной игре. Манера поведения Дмитрия и самый характер шиллеровских реминисценций свидетельствует о том, что герой «не только сознательно, может быть, отчасти шутливо, но в то же время и непроизвольно, стихийно входит в роль Карла Моора»<sup>2</sup>. Т. М. Родина права в своих наблюдениях и выводах о мочаловско-шиллеровской традиции в романе. По ее мнению, нить от театрализованного поведения Мити тянется к той самой постановке «Разбойников», которая произвела на юного Достоевского сильнейшее впечатление. Мочалов известен как актер «нутра». Его яркий, страстный, темпераментный стиль как нельзя более соответствовал стилю шиллеровских пьес. Н. Я. Берковский сказал о героях раннего Шиллера, что они «отождествляются со своей активностью; это люди—силы, с крепкими словами, с бешеным жаргоном, исходящим из самого их беспокойного, несытого нутра, с действенными жестами...»<sup>3</sup>. Поведение Дмитрия как бы воспроизводит особенности мочаловской игры в театре Шиллера. Прибегая к шиллеровским реминисценциям,

---

<sup>1</sup> Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. — М., 1970. — С. 216.

<sup>2</sup> Родина Т. М. Достоевский: повествование и драма. — М., 1984. — С. 76.

<sup>3</sup> Берковский Н. Я. Эволюция и формы раннего реализма на Западе // Ранний буржуазный реализм. — Л., 1936. — С. 80.

автор поддерживает иллюзию этой игры. Исследователи не раз обращали внимание на то, что слова из «Разбойников»: «Кошелек или жизнь!», шутливо брошенные Митей Алеше при их внезапной встрече, в контексте всего романа приобретают трагически-символический смысл.

Согласно черновому наброску к роману, Дмитрий должен был заявить на суде: «Я Шиллера любитель, я идеалист. Кто решил, что я пакостник, тот меня еще не знает» (15; 344). Но писателю было важнее, как проявится Дмитрий во время «мытарств». Акцент сделан именно на его поведении. Герой избегает деклараций в процессе суда, однако прокурор и защитник, исходящие в своих послылках из психологической характеристики обвиняемого, чувствуют «шиллеровское», благородное начало в его характере, подобно тому, как Свидригайлов угадывал «Шиллера» в Раскольникове. Прокурор иронически говорит о Дмитрие как о «любителе просвещения и Шиллера», подчеркивает его устремленность к высоким идеалам. Стремясь дискредитировать обвиняемого, обвинитель компрометирует свою собственную точку зрения, проявляя неверие в человека. К. Г. Щенников справедливо заметил, что, «характеризуя Карамазовых, прокурор огрубляет, упрощает психологию каждого из братьев, так как не понимает их духовных исканий»<sup>1</sup>.

Фетюкович, адвокат Дмитрия, на первый взгляд, произносит вполне убедительную речь и в своей характеристике обвиняемого прав. Его речь вызывает «неудержимый восторг» присутствующих. Казалось бы, Дмитрий понят исчерпывающе: «Талантливый обвинитель смеялся давеча над моим клиентом безжалостно, выставляя, что он любит Шиллера, любит «прекрасное и высокое». Я бы не стал над этим смеяться на его месте, на месте обвинителя! (...) ...Эти сердца весьма часто жаждут нежного, прекрасного и справедливого и именно как бы в контраст себе, своему буйству, своей жестокости — жаждут бессознательно и именно жаждут. Страстные и жестокие снаружи, они до мучения способны полюбить, например, женщину, и непременно духовную и высшую любовью...» (15; 169). Но насстораживает авторская оценка — «прелюбодей мысли». Талант адвоката не вызывает сомнения, но его версия «преступления» еще более сомнительна, чем версия прокурора. Очевиден прямой расчет на успех у пуб-

---

<sup>1</sup> Щенников Г. К. Художественное мышление Ф. М. Достоевского. Свердловск, 1978. — С. 161.

лики, что является определяющим в выборе аргументов. Жажда самоутверждения поглощает стремление к истине. По наблюдениям Д. Чижевского, считающего, что в образе защитника Достоевский воплотил «пустой либерализм», «лживую софистику», некоторые мысли Фетюковича восходят к мыслям Франца Моора<sup>1</sup>. В контексте его речи они имеют концептуальное значение, так как обосновывают и поддерживают его версию «преступления».

Д. Чижевский пишет, что «прелюбодейство мысли» достигает своего апогея в конце речи защитника, когда тот доказывает, что понятие «отец» относительно. Предельно заостряя свою мысль, Фетюкович ставит вопрос о том, что значит отцовство вообще и может ли считаться отцом недостойный отец: «...Юноша невольно задумывается: «Да разве он любил меня, когда рождал (...) разве для меня он родил меня: он не знал ни меня, ни даже пола моего в ту минуту, в минуту страсти, может быть разгоряченный вином, и только разве передал мне склонность к пьянству — вот все его благодеяния... Зачем же я должен любить его, за то только, что он родил меня, а потом всю жизнь не любил меня?» (15; 171). Данный момент речи защитника, в котором довольно точно воспроизводится ход мыслей Франца Моора<sup>2</sup>, примечателен в двух отношениях: во-первых, он обнаруживает противоречивость позиции защитника, сначала выдвинувшего версию о Смердякове как убийце, а затем допускающего возможность убийства «дурного отца» Дмитрием; во-вторых, он негативно влияет на судьбу Дмитрия, на которого — как это следует из второй версии — прямо падает подозрение в убийстве. Автор романа дает почувствовать, что характер Дмитрия, как, впрочем, и любого другого человека, не может быть понят при помощи одних только логических построений. В конечном итоге «и следователь, и судьи, и прокурор, и защитник, и экспертиза одинаково не способны даже приблизиться к незавершенному и нерешенному ядру личности Дмитрия, который, в сущности, всю свою жизнь стоит на пороге великих внутренних решений и кризисов»<sup>3</sup>. Дмитрия лучше всего понял тот, кто в него поверил.

Высшая требовательность, которую предъявляет к себе герой Достоевского, принимающий на себя груз страдания за

---

<sup>1</sup> См.: Cyzevskyj D. Schiller und die «Brüder Karamasov». — S. 12—13.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. — 4 изд. — М., 1979. — С. 72.

несовершенное преступление, свидетельствует о духовном обновлении, о более высокой степени развития сознания и новых нравственных запросах. С этим, «вполне русским характером», связана мысль о нравственном перевороте, самоусовершенствовании, «выделки в человека». Как известно, Достоевский страстно пропагандировал идею братства как необходимого условия социальной гармонии. Путь к достижению братства начинается, по мысли писателя, с нравственного переворота в каждой отдельной личности. Дмитрий Карамзов страстно мечтает о братстве, чистоте и красоте человеческих отношений, подлинном семейственном союзе. В записных книжках Достоевского встречается запись: «Митя: Словами из Шиллера: «Только тот чертог и крепок» — господа, это у нас было не крепко!» (15; 303). В комментарии к тридцатитомному собранию Достоевского выражено предположение, что перевод строк из стихотворения Шиллера «Победное торжество» («Das Siegesfest») сделан самим Достоевским, «так как к слову «чертог» дан вариант «союз» (15; 616). Осознание святости семейных уз есть, по мысли писателя, залог к подлинному духовному братству между людьми, являющемуся необходимым условием всякого человеческого сообщества.

Тема Шиллера актуализируется и в контексте глобальных идеологических проблем, волнующих Ивана Карамзова. В этом, по выражению Я. Голосовкера<sup>1</sup>, герои «кантовых антиномий», как и в шиллеровском Карле Мооре, «мысль созрела до степени страсти»<sup>2</sup>, до такой предельной стадии, когда роковой поступок неизбежен и неотвратим.

Как и в случае с Дмитрием, здесь заявлена двойная параллель — с Карлом и Францем Моорами. Иван близок Карлу своими бунтарскими устремлениями, сосредоточенностью на сходных философских вопросах. Одним из важнейших вопросов, над которым бьется Иван Карамзов, является вопрос о Боге и бессмертии. Тема трагического бунта против мировой несправедливости, звучащая в «Разбойниках», в «Братьях Карамзовых» заявлена во всей остроте. В обоих произведениях онтологические проблемы теснейшим образом взаимосвязаны с нравственно-психологическими. «И Достоевский, и молодой Шиллер, — подчеркивает Н. Вильмонт, — одинаково ставят все нравственное поведение своих героев в зависи-

<sup>1</sup> См.: Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант. — М. 1963.

<sup>2</sup> Шиллер Ф. Собр. соч.: В 8-и т. (под общ. ред. Ф. П. Шиллера). М.; Л., Akademia, 1937—1950. — Т. 6. — С. 581.

мость от разрешения вопроса: «Есть Бог или нет его?»<sup>1</sup>. Нетрудно заметить, что отдельные мотивы «Философских писем» перекликаются с мировоззренческими установками Ивана Карамазова (Ср.: из письма Юлия к Рафаэлю: «Как только я начинаю верить в Бога, я должен отказаться от творца»<sup>2</sup>. «Я не Бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю, и не могу согласиться принять» (14; 223). Литературоведы обращали внимание на генетическую связь выдвинутой Иваном «формулы бунта» с формулой «возвращения билета» на вход в грядущий гармонический мир, идущей от Шиллера<sup>3</sup> (имеется в виду стихотворение Шиллера «Резиньяция»). Д. Чижевский указывает на сходство «внешнего построения и содержания» «Резиньяции» и главы «Бунт»: в том и другом случае обвинительная речь обращена к Богу («вечности»), с тем различием, что у Шиллера говорится об индивидуальном страдании, а Иван обеспокоен страданиями других. Разумеется, и в данном случае не должно смешивать позицию героя с позицией автора, который, как справедливо отмечает исследователь, был уже очень далек от идей молодого Шиллера, впоследствии им самим преодоленных<sup>4</sup>. В логических построениях Ивана шиллеровская мысль об отречении доходит до апогея, приобретая неповторимое, самобытное национальное выражение. «...В Европе такой силы атеистических выражений нет и не было (27; 86)», — подчеркивал Достоевский.

Тематически многоплановые и разнополюсные шиллеровские отражения акцентируют внимание читателя на тех трагически-парадоксальных состояниях, в которых оказывается герой Достоевского. Иван, тяготеющий к «высокому и прекрасному», влюбленный в жизнь, вынужден стать на путь «отпадения от мира». Достижение гармонии есть заветная мечта Ивана, которая, однако, осознается им как мечта недостижимая, ибо гармония, основанная на страдании, героем безоговорочно отрицается. Попытка разрешить глобальные философские вопросы бытия оказывается тщетной: обычный «эвклидовский» разум не в состоянии решить подобные вопросы. Путь непревзойденного полета мысли приводит к нравственному и интеллектуальному тупику. Стремление обрести

---

<sup>1</sup> Вильмонт Н. Н. Достоевский и Шиллер. — М., 1984. — С. 187.

<sup>2</sup> Шиллер Ф. Собр. соч.: В 8-и т. — Т. 6. — С. 28.

<sup>3</sup> Вильмонт Н. Н. Достоевский и Шиллер. — 218.

<sup>4</sup> См.: Cyzevskij D. Schiller und die «Brüder Karamasov». — S. 11—12.

внутреннюю гармонию оборачивается состоянием тяжелого внутреннего разлада.

Иван, ставящий под сомнение веру и бессмертие, оказывается связанным с «материалистическим атеистом» Францем Моором. Он предстает в романе как главный идеолог «вседозволенности», имеющий многочисленных «двойников» по идее. «...Этот человек с идеей — не только Иван, как единица, — заключает Я. Э. Голосовкер, — он еще целая сумма слагаемых: это еще и Смердяков, и черт, и Ракитин, и даже отчасти Лиза Хохлакова... Все они отголоски Ивана, целиком или частично уродливые (по Достоевскому) куски его сознания, дублиеры одной его стороны...»<sup>1</sup> Д. Чижевский указывал на сходные мотивы «двойничества» в «Разбойниках» и «Заговоре Фиеско», соотнося Карла Моора и Шпигельберга; как наиболее выразительного из разбойников, Фиеско и Мавра<sup>2</sup>. В «Братьях Карамазовых» мы сталкиваемся с подобными многочисленными «союзами со злом», с «многоступенчатым воплощением идеи» (Иван—Инквизитор—Смердяков—черт)<sup>3</sup>.

Одним из самых несомненных литературных прототипов Великого Инквизитора, героя из «поэмки» Ивана, является соответствующий шиллеровский персонаж из драмы «Дон Карлос», что неоднократно отмечалось русскими и зарубежными исследователями. Ю. Мейер-Грефе отметил, что Шиллер явился для Достоевского импульсом, побуждением к созданию образа Великого инквизитора<sup>4</sup>. В. А. Туниманов в статье «О литературном и историческом «прототипах» Великого инквизитора» показал, как был интерпретирован и переосмыслен Достоевским огромный литературный, исторический, богословский, философский материал, связанный с образом Великого инквизитора. Персонаж Достоевского совершенно оригинален, и вместе с тем он несет в себе многие черты предшествовавших ему литературных образов, прежде всего — Великого инквизитора Шиллера.

У Шиллера Великий инквизитор — слепой девяностолетний старец, ярый фанатик, претендующий на абсолютную

---

<sup>1</sup> Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант. — С. 42.

<sup>2</sup> Cyzevskyj D. Schiller und die «Brüder Karamasov». — S. 32—33.

<sup>3</sup> Старосельская Н. Д. Тема русского фаустианства в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». — Автореф. дис. ...канд. филол. наук. — М., 1984. — С. 24.

<sup>4</sup> См.: Meier — Graefe I. Dostojewski der Dichter. — Berlin, 1926. — S. 398.

власть, требующий у монарха полного подчинения и отчета. Это образ гораздо более монолитный и цельный, чем Великий инквизитор, созданный воображением Ивана. В присутствии этого убежденного иезуита даже сам король Филипп ведет себя как-то нерешительно. Фанатичным противником свободы является и Великий инквизитор из «поэмки» Ивана, и в этом в полной мере сказалось влияние Шиллера. Однако у Достоевского вводится качественно новый мотив — иезуита, страдающего за человечество; более того, по степени и силе страдания Иван пытается уравнивать его с самим Христом. По глубокому убеждению Инквизитора Достоевского, свобода не дает человеку счастья, поскольку он беспомощен и слаб. Пытаясь убедить Христа в своей правоте, Великий инквизитор «пускается в «бесовскую диалектику»<sup>1</sup>, излагает ему свою теорию, стоившую этому — почти житейному герою — целой жизни. И у этого персонажа «мысль созрела до степени страсти», безрассудной, слепой и жестокой: во имя абстрактной любви к человечеству горят костры, на которых приносятся все новые и новые человеческие жертвы.

По справедливому мнению В. А. Туниманова, в «Дон Карлосе» Шиллером дан образ-символ: «...Он олицетворяет слепую силу зла, неумолимую и безжалостную. Это не человек, не личность, просто символ, сосуд зла, машина для служения богу власти»<sup>2</sup>. Великий инквизитор Достоевского более «очеловечен», во-первых, уже самим фактом страдания, во-вторых, колоритностью и конкретностью изображения. Герой Шиллера поражает совершенной бесчувственностью, тогда как герой Достоевского «не утверждает, а скорее жалуется, упрекает и оправдывается, исповедуется, а не диктует законы, у него «ад в груди», обыкновенное человеческое сердце...»<sup>3</sup>.

У Достоевского очень важно, что Иван задумал свое произведение как поэму, т. е. предполагается определенное ли-

---

<sup>1</sup> Туниманов В. А. О литературном и историческом «прототипах» Великого инквизитора // Уч. зап. чечено-ингушского пед. ин-та. 1968. № 27. Вып. 15. — Серия филологии. — С. 31.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Туниманов В. А. О литературном и историческом «прототипах» Великого инквизитора. — С. 31.

рическое отношение к теме. Иван излагает содержание своей поэмы с «двойным сочувствием — к той и другой стороне, акцентируя моменты трагического и высокого. Оттого в поэме так силен и драматический элемент. При этом позиция самого героя, как уже неоднократно отмечалось, до конца не прояснена. Он то серьезен, то поэтически-воодушевлен, то ироничен; его речь проникнута высоким пафосом — и вдруг этот ее смысл внезапно опрокидывается: «Уж не думаешь ли ты, что я прямо поеду теперь туда, к иезуитам, чтобы стать в сонме людей, поправляющих его подвиг? О Господи, какое мне дело!» (14; 239). В. Е. Ветловская доказывает, что смех Ивана «безусловно дьявольской природы»<sup>1</sup>. В черновых набросках к роману «основная тенденция ивановского бунта обнажена... до конца. Именно полное отрицание Бога...»<sup>2</sup>. В записях, относящихся к главе «Бунт», встречается следующая: «Зачем нам там? Мы человечнее тебя. Мы любим землю — Шиллер поет о радости, Иоанн Дамаскин» (15; 230). А. С. Долинин не без оснований полагает, что в отличие от «Исповеди горячего сердца», где тема радости дана в интерпретации религиозной, в данном случае «радость противопоставлена небесам, — очевидно, только земная...»<sup>3</sup>.

В характеристике позиции Ивана существенно еще одно обстоятельство. В «экспозиции» своего рассказа Иван, повествуя о жизни человечества до появления Христа в Севилье, цитирует стихи из заключительной строфы стихотворения Шиллера «Желание» (пер. В. Жуковского):

Верь тому, что сердце скажет,  
Нет залогов от небес.

«И только одна лишь вера в сказанное сердцем!» (14; 225) — сочувственно восклицает Иван. Нотка сочувствия, звучащая в этих словах, значение которых выходит за пределы данного контекста, говорит о многом. Достоевский, как полагает В. Лакшин, «упорно ищет, на что бы опереться добру в человеке, и не находит в нем самой надежной опоры. Он не может допустить мысли, что... без Бога человек способен поступать по совести, по справедливости»<sup>4</sup>. Его герой допускает такую мысль, но отчаивается в ней. В этом великая боль Ива-

<sup>1</sup> Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». — С. 93.

<sup>2</sup> Долинин А. С. Последние романы Достоевского. — М.; Л. 1963. — С. 293.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Лакшин В. Я. Суд над Иваном Карамазовым. — Подъем. — 1982. — № 1. — С. 135.

на, истоки его глубокого скепсиса. «Тут бунтует, споткнувшись о все зло мира, мысль, в корне своем светлая, добрая, гуманная»<sup>1</sup>, — утверждает В. Лакшин, в известной степени опровергая интерпретации Ивана как «демонического» героя. Иван предстает в романе человеком трагически раздвоенным, и в этом плане он схож с Раскольниковым, отличающимся высшим бескорыстием, щедрым сердцем, возвышенно настроенной душой, но дошедшим «до края» в своих идеологических построениях. Не вполне правомерен взгляд на Ивана, как на человека холодного, рационалистичного, беспристрастного. На наш взгляд, Д. Чижевский преувеличивает «этический рационализм» Ивана. По его мнению, этический рационалист не способен любить конкретного человека, так как идея человека заслоняет живого человека<sup>2</sup>. Иван не лицемерит, когда говорит о любви к Алеше; долго сдерживаемая страсть его к Катерине Ивановне внезапно прорывается с неудержимой силой.

Тот факт, что Иван с его гуманистическим сознанием и высокоразвитым нравственным чувством является «чистым идеологом» для таких, как Смердяков, есть проявление трагической иронии, характерной для пафоса романа в целом. В атмосфере разбоя и разброда достаточно только намекать, чтобы преступная идея была подхвачена и «одействована». Чрезмерная преданность идее и для самого «чистого идеолога» оказывается пагубной. Об этом писали Б. И. Бурсов, Я. С. Билинкис, Н. Н. Вильмонт<sup>3</sup>. «Идеи, — отмечает последний, — умертвляют человека не менее кровожадно, чем злодей с топором (Раскольников), с револьвером (Петр Верховенский) или с чугунным пресс-папье Федора Павловича Карамазова (Смердяков и стоящий за ним Иван Карамазов)»<sup>4</sup>. Ивана охватывает чувство ужаса, когда он ощущает себя в союзе со Смердяковым, ибо это самый унижительный для него союз. Иван всегда относился к Смердякову с крайним презрением, считал его «лакеем и хамом», «передовым мясом» и не мог предполагать, что Смердяков по-своему, в извращенной, урод-

<sup>1</sup> Там же. — С. 125.

<sup>2</sup> См.: Чижевский Д. К. К проблеме двойника // О Достоевском. — Прага, 1929. — С. 29—33.

<sup>3</sup> См.: Бурсов Б. И. Личность Достоевского. Роман-исследование. — Л., 1979. — С. 154; Билинкис Я. С. Братья Карамазовы на экране и Достоевский сегодня. // Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов. — Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1974. — С. 10; Вильмонт Н. Н. Достоевский и Шиллер. — С. 143.

<sup>4</sup> Вильмонт Н. Н. Достоевский и Шиллер. — С. 143.

ливой форме, возразит против непризнания его личностью (последний мотив, конечно, не является главным в убийстве Смердяковым Федора Павловича, но он присутствует среди других мотивов). Именно в этот момент своей жизни Иван наиболее отчетливо осознает свою преступность, причастность к миру «карамазовщины», о чем свидетельствует, например, диалог со Смердяковым: «Вы как Федор Павлович, наиболее-с, изо всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с. — Ты не глуп, — проговорил Иван, как бы пораженный»... (15; 68). Для Ивана, одержимого страшной идеей вседозволенности, связь со Смердяковым — это последняя связь в пределах земного круга. Она предваряет и отчасти мотивирует появление союза с чертом.

Как известно, черту принадлежат все «черные мысли» Ивана. Он упрекает Ивана в том, что в том живет «романтическая струйка», тяготение к «высокому и прекрасному». Черт упрочивает в Иване мысли о вседозволенности и человеко-боге: «...Так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеком-богом, даже хотя бы одному в целом мире...» (15; 84). В диалогах с чертом в наибольшей степени обнаруживается присущая Ивану внутренняя раздвоенность, которая и приводит его к трагическому концу.

Иван, как и Дмитрий, — поклонник Шиллера, он цитирует поэта в оригинале (сцена объяснения с Катериной Ивановной), чему немало удивляется Алеша, являющийся свидетелем этой сцены: «Прощайте. Мне не надобно руки вашей. Вы слишком сознательно меня мучили, чтоб я вам мог в эту минуту простить. Потом прощу, а теперь не надо руки. *Den Dank, Dame, begehrt ich nicht*» (14; 175). Иван, как и Дмитрий, прибегает к «жестоким» шиллеровским мотивам (цитируется баллада «Перчатка»): он также переживает мучительную, надрывную страсть. Стихи баллады являются, таким образом, указанием на самый характер любви (ср. с Гончаровым: «Ольга не справлялась, поднимет ли страстный друг ее перчатку, если б она бросила ее в пасть ко льву, бросится ли он для нее в бездну, лишь бы она видела симптомы этой страсти, лишь бы он оставался верен идеалу мужчины...»<sup>1</sup>).

Шиллер присутствует и в кругозоре Алеши, которому свойственно радостное приятие мира и жизни, в высшей степени гуманное отношение к человеку. В данном случае писателем подчеркивается непосредственность связей с жизнью — ли-

<sup>1</sup> Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8-ми т. — Т. 4. — М., 1979. — С. 250.

тературные ориентиры существуют лишь в косвенных отражениях. О сочувственном отношении Алеши к Шиллеру можно судить по такого рода отражениям. Дмитрий, декламирующий Шиллера, не сомневается в том, что его поймет именно Алеша: «Леша, — сказал Митя, — ты один не засмеешься! Я хотел бы начать... мою исповедь... гимном к радости Шиллера» (14; 98). Характерна также реакция Алеши на поэтическую отповедь Ивана, обращенную к Катерине Ивановне: «Den Dank, Dame, begehrt ich nicht», прибавил он с искривленной улыбкой, доказав, впрочем, совершенно неожиданно, что и он может читать Шиллера до заучивания наизусть, чему прежде не поверил бы Алеша» (14; 175). Исследователи (Д. Чижевский, И. Лапшин) обращали внимание на идею близости искусства и игры, развиваемую Алешей (глава «Жучка»), которая, по мнению этих исследователей, восходит к эстетике Шиллера. «Здесь, так сказать, дана популяризация одной из самых центральных и оригинальных мыслей шиллеровской эстетики», — отмечает Д. Чижевский<sup>1</sup>. Если учесть ту роль, которую занимает элемент игры в романе, можно заключить, что эта идея в общем контексте произведения имеет весьма существенное значение. Примечательно, что в качестве примера Алеша приводит игру в разбойники. Согласно первоначальным планам, Алеша в одном из эпизодов романа должен был выступить в роли популяризатора Шиллера. Г. Чулков и А. Долинин обращали внимание на следующую запись, встречающуюся в записных книжках: «Алеша (идиот) разъясняет детям «Поминки». Г. Чулков прокомментировал эту запись: «Поминки» — это «Das Siegesfest» Шиллера. «Злое злой конец приемлет» — строка этого стихотворения в переводе Тютчева»<sup>2</sup>. Достоевский был знаком с двумя переводами стихотворения Шиллера «Das Siegesfest», о чем свидетельствуют цитаты из баллады «Торжество победителей» Жуковского в «Вечном муже» и «Братьях Карамазовых», а также указанная выше запись. Тютчев иначе интерпретировал общий смысл баллады, чем Жуковский. Его романтический перевод, в котором акцентируются мотивы бренности бытия, восходит к барочной традиции восприятия мира, если иметь в виду отношение к «вечным» вопросам человеческой жизни. В окончательной редакции романа этот мо-

<sup>1</sup> Cyzevskyj D. Schiller und die «Brüder Karamasov». — S. 12.

<sup>2</sup> Чулков Г. Как работал Достоевский. — М., 1939. — С. 286.

мент сюжета реализован не был. Писатель нашел иные способы выражения нравственной позиции героя, всегда подкреплявшейся, как уже отмечалось, его конкретными поступками.

Как и в «Идиоте», в «Братьях Карамазовых» отразилось авторское представление о «высшем человеке», в известной мере соотносимое с концепцией «высшего человека» у Шиллера. Литературоведы фиксировали сходство и различие в постановке данной проблемы Шиллером и Достоевским. «Достоевский принимает понятие Шиллера о высшем человеке, — считает Б. Бурсов, — но он иначе решает проблему сочетания в нем противоположных начал, якобы свидетельствующих о полноте человеческой личности. Учение Шиллера об эстетическом воспитании человека все-таки остается в плоскости умозрения, как противовес рационализму Канта и классицизму. Достоевский переводит проблему личности в план общен исторический»<sup>1</sup>. На формальное сходство типов «высшего человека» у Шиллера и Достоевского обращает внимание Д. Чижевский, в то же время подчеркивающий, что Достоевский полемизирует со взглядом Шиллера на «высшего человека» как «эстетического»<sup>2</sup>. Образы Зосимы и Алеши, также, как и образ князя Мышкина в «Идиоте», возникают на почве русского православия. В процессе создания центральных образов «Братьев Карамазовых» Достоевский ориентировался на житийные образы древнерусской литературы и имел в виду реально существовавших людей из числа русских старцев и подвижников. При рассмотрении важнейших характерологических признаков «высшего человека» у Достоевского в его итоговом романе обнаруживается своеобразное взаимодействие и с западноевропейской просветительской традицией. Шиллер считал, что «наиболее действительной пружиной всего великого и прекрасного в человеке» является «энергия характера». Герои Шиллера — всегда деятельные герои: в борьбе, инициаторами или участниками которой они являются, они идут до конца. Таковы Маркиз Поза и Валленштейн, Иоанна и Макс Пикколомини, Мария Стюарт и Деметриус, т. е. как реалисты, так и идеалисты. Для героев Шиллера очень важна сама «энергия прожитой жизни» (выражение Н. Я. Берковского). У Достоевского этот характерологический

---

<sup>1</sup> Бурсов Б. И. Национальное своеобразие русской литературы. — Л., 1957. — С. 333.

<sup>2</sup> Cyzevskij D. Schiller und die «Brüder Karamasov». — S. 23.

признак усилен мотивом деятельной христианской любви. Именно с этой целью — бескорыстного служения людям отправляется в мир Алеша, горячо воспринявший завет старца Зосимы. Эта деятельная любовь осуществляется прежде всего в служении ближнему, но замысел писателя свидетельствует о том, что предполагались гораздо более широкие перспективы служения. По мнению Шиллера, в совершенном человеке «энергия характера», гармонически соединенная с «чувством», есть залог искомой нравственной позиции: только в этом случае человек способен «сделаться сострадательным, отзывчивым, быстрым на помощь...»<sup>1</sup>. Такими необходимыми для совершенного человека качествами в полной мере обладает Алеша. Его нравственная чистота, сочувствие к страданию, доброта и искренность неудержимо влекут к нему людей, измученных «надрывами». И каждый человек находит у Алеши живейший отклик на свои переживания, обретает человеческую поддержку и помощь. Исследователи подчеркивают важность для Алеши такого — высоко ценимого Шиллером — нравственного принципа, как «неосуждение»: «...весь мир для него этически «прозрачен», становится его собственностью через его действительную любовь, расцветающую на почве «неосуждения»<sup>2</sup>. Д. Чижевский подчеркивает религиозную подоплеку «неосуждения» у Достоевского и выдвигает тезис о полемике русского романиста со своим предшественником, представлявшим совершенного человека как «эстетического». Более правомерно, на наш взгляд, говорить не столько о полемике Достоевского с Шиллером по данному вопросу, сколько о типологической разности их вариантов «высшего человека» (т. е. «религиозного» и «эстетического»). Взаимодействие с шиллеровской традицией выразилось в том, что Достоевский учитывал те общечеловеческие характеристики, которые имел в виду Шиллер, воссоздавший «модель» своего человека-универсума.

Отношение позднего Достоевского к Шиллеру было достаточно противоречивым и сложным. В своих антропологических воззрениях русский романист — при всей любви к Шиллеру — расходился с немецким поэтом и, действительно, полемизировал с ним. Автор «Братьев Карамазовых», обнаруживший в человеке такие психологические глубины, которые разуму неподвластны, не мог не усомниться в прос-

---

<sup>1</sup> Шиллер Ф. Собр. соч.: В 8-ми т. — Т. 6. — С. 327.

<sup>2</sup> Д. Чижевский. К проблеме двойника. — С. 35.

ветительски-возвышенном взгляде на человека. Если поздний Шиллер склонялся к мысли о том, что «здоровая и прекрасная натура... не нуждается ни в каком божестве, ни в каком бессмертии»<sup>1</sup>, то для Достоевского вопрос о Боге и бессмертии являлся одним из самых первостепенных и мучительных вопросов. Разность позиций не привела Достоевского к отчуждению от Шиллера. В семидесятые годы Достоевский, увидевший русский мир в состоянии хаоса, брожения и распада, нуждался в Шиллере, быть может, более, чем когда-либо прежде. Страстная апелляция к немецкому поэту в «Братьях Карамазовых» свидетельствует о поиске позитивных жизненных ценностей, об утверждении гуманистической позиции.

В период подведения жизненных и творческих итогов, к Шиллеру обращался и Некрасов. Его стихотворение «Поэту» (1874 г.) имеет подзаголовок «Памяти Шиллера». В этом стихотворении нашли отражение утверждение красоты идеала, острая критика «века крови и меча» и собственное трагическое мироощущение поэта последних лет. «Шиллеровская идея», являющаяся для Некрасова своеобразным эстетическим критерием, символизирующим «высокое и прекрасное» начала жизни, в известном смысле спасала его от отчаяния и безысходности»<sup>2</sup>.

Достоевский с его «жестоким талантом» видел в Шиллере единомышленника в изображении социальных и психологических аномалий. Уже отмечалось, что Шиллер интересовал Достоевского, как автор «жестоких» тем. Разбойничество предстает в «Братьях Карамазовых» не просто в виде конкретных проявлений бесчинств и насилий, попраний человеческого достоинства, — оно и в самой духовной атмосфере, где естественно зарождается мысль о преступлении и вседозволенности (в этом заключается один из самых глубоких смыслов параллели с «Разбойниками» Шиллера). С Шиллером связан развиваемый в романе мотив «человека-зверя» (в этом плане наиболее показательна глава «Бунт»). Многочисленные шиллеровские реминисценции из знаменитого монолога Карла Моора («Люди, люди! Лжи-

---

<sup>1</sup> Шиллер Ф. Собр. соч.: В 8-ми т. — Т. 8. — С. 590—591.

<sup>2</sup> См. мою статью «О «шиллеровской идее» у Некрасова // Н. А. Некрасов и русская литература XIX — начала XX веков. — Ярославль, 1984. — С. 40—45.

вое, коварное отродье крокодилов! Вода — ваши очи, сердце — железо! На уста поцелуй, кинжал в сердце!»<sup>1</sup> свидетельствуют не только о непосредственной связи с Шиллером, но и со всей русской театрально-драматургической традицией, по-своему взаимодействовавшей с героическим театром Шиллера. Наиболее часты парафразы и реминисценции из «Разбойников» Шиллера у Островского. Цитата из «Разбойников», декламируемая Несчастливцевым в «Лесе», приобретает в драме символический смысл, а герой пьесы, подобно Дмитрию Карамазову, входит в роль Карла Моора, изъясняясь его слогом («Это ли любовь за любовь? О, если б я мог остервенить против этого адского поколения всех кровожадных обитателей лесов»<sup>2</sup>). Несчастливцев горд своей причастностью к высокому искусству, его игра и есть его жизнь. Стихия игры, связанная с шиллеровским театром, ощутима и в «Братьях Карамазовых» — как в их трагически-высоких мотивах, так и в пародийно-сниженных (Федор Павлович проигрывает шутовской вариант «владельца графа фон Моора», неоднократно прибегая к цитатам из «Разбойников»).

Но для Достоевского, как и для Фета, Шиллер прежде всего — «орел могучих светлых песен», тот божественный певец, каким воспел его Тютчев. Обращаясь к Шиллеру в семидесятые годы, Достоевский почувствовал и предугадал новые веяния в современной действительности и современном искусстве. В 70—80-е гг. Малый театр вновь оказывается в зените славы.

В этот период мощнейшего подъема русского театрального искусства на сцене Малого театра возрождался героический репертуар, в котором первостепенную роль играли пьесы Фридриха Шиллера.

---

<sup>1</sup> Шиллер в переводе русских писателей/под ред. Н. В. Гербеля. — СПб., 1957. — Т. 3. — С. 31 (пер. М. М. Достоевского).

<sup>2</sup> Островский Н. А. Полн. собр. соч.: В 12-и т. — Т. 3. — М., 1974. — С. 337.